



ЗВУЧИТ «СОНАТА»

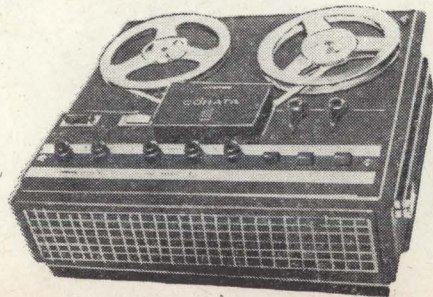
«СОНАТА-308» — легко управляемый и надежный аппарат магнитной записи. С его помощью каждый быстро освоит технику звукозаписи с микрофона, телевизора или проигрывателя.

Скорость движения ленты — 9,53 см/с, запись четырехдорожечная. «Соната-308» запишет и стерео-программы, прослушать запись в режиме «стерео» можно, подключив магнитофон к стереоусилителю или через стереонаушники.

«Соната-308» пополнит Вашу фонотеку записями музыкальных новинок, интересных концертных программ.

Цена магнитофона — 180 руб.

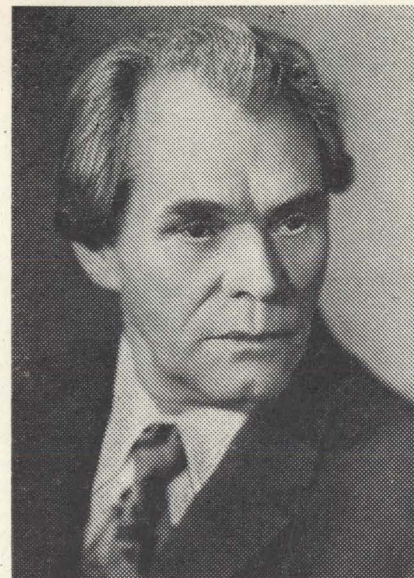
ЦКРО «Орбита»



ОГОНЁК

№ 41

1980



Владимир ЖУКОВ

ПОЗЫВНЫЕ СЕРДЦА

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ПРАВДА»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 41

Владимир ЖУКОВ

ПОЗЫВНЫЕ СЕРДЦА

СТИХИ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1980

Владимир ЖУКОВ

Владимир Семёнович Жуков родился 31 марта 1920 года в Иваново-Вознесенске в рабочей семье. За вычетом отлучек на финскую и Великую Отечественную войны, на которых был пулеметчиком, безвыездно живет в родном городе.

Окончил литературный факультет Ивановского государственного педагогического института и Высшие литературные курсы. Участвовал в работе первого Всесоюзного совещания молодых писателей по творческому семинару А. Т. Твардовского, на которое был приглашен по первой книге, «Солдатская слава», вышедшей в свет в 1946 году.

Автор более двух десятков книг, В. Жуков занимается и переводами поэзии с языков братских литератур.

Награжден орденами: Отечественной войны II степени, Красного Знамени, «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Почетными грамотами Президиумов Верховных Советов союзных республик.

За книгу стихов и поэм «Иволга» был отмечен в 1977 году Государственной премией РСФСР имени М. Горького.

Член КПСС с 1944 года, член СП СССР с 1947 года.

РЕЧКА ШИЖЕГДА

То лесистая, травянистая,
то сквозная, голубая, бочажистая,
то бежит, журчит
между трав, дубрав,
то опять молчит,
в рот воды набрав.
А возьмет у переката
дудочку —
заструится меж лопаток
луночка.
На ракитах соловьи
закачаются.
Им бы петь, а они
задыхаются.
Ни коленец не хватает,
ни горлышка!
То ли музыкой прошита
до донышка,
то ль набита
грампластинками
Шижегда,
золотыми кувшинками
вышита.
По лужку за водой
за тишайшею,
как в бреду, я бреду:
что же дальше, а?..
Где колки в тростниках,
чья мелодия?
Чья душа, чья рука,
чья рапсодия?
Я — всего человек,
а не выжига.

Не гляди из-под век,
речка Шижегда.
Речка Шижегда,
речка Шижегда...
То ли пан,
то ль пропал,
то ли выжил я.

ВОЖАК

Весь как из струн, весь как из небылицы,
из сказки весь, лишь плотью от земли...
И заходили нервно кобылицы,
ударили в копыта у Нерли.
И зов его и храп его втянули,
подвластные инстинкту одному.
Всем табуном на голос повернули.
А эта не ответила ему!
А эта горячее всех и моложе,
черным-черна, лишь гривой бела.
И ходуном по крупу ходит кожа,
и губы ей не рвали удила.
Откуда эта выдержка и гордость,
когда и зовом предков не проймешь?
Табун летел. И резал ветер мордой
четвероногий черногривый вождь.
Он стлался, выворачивая плечи,
удар копыт врубая в общий топ...
И выхлестнулись кони в междуречье
из горловины поймы, как потоп.
На все лады зацокали по гатям.
А он в последний раз копыта вбил
и вывернулся в «свечке» на откате,
и направление лёта изменил.
И вновь заржал. И оборвал. И снова
заржал, аллюр меняя на намет...
Поди слови, останови такого —
жгуты порвет и ясли разнесет!
По замкнутой параболе, по кругу
стремит его сплетенье мышц и жил...
А он смиренно подошел к подруге
и морду ей на шею положил.

ЗАВАЛИЛО ИВАНОВО СНЕГОМ

Г. И. Коновалову

Как живется под северным небом?..
Хорошо!.. Тяжело и светло.
Завалило Иваново снегом
белым-белым. До крыш замело.
Подступили сугробы к перрону
и застыли у жарких колес.
Оступись же с подножки вагона
в тишину этих белых берез.
Всю неделю снега парусили,
сто метелей летели в обгон...
Если есть где-то сердце России,
то стучит оно здесь испокон!

ИВОЛГА

И так от века — век за веком —
в снегу от макушки до пят
природа спит, как дети спят,
в постельку бухнувшись с разбега.
Но вновь пахнуло талым снегом,
и на порубке — тьма опять.
Не чудо ль это?.. Но опять
мне говорит мой друг суровый:
не современно и не ново,
пора б осмыслить и понять, —
ну что с того, что лист ольховый
ладошку начал расправлять?
Всё даже в прозе это было,
на рифму ложено не раз...
Да, это было. Да не сплыло!
А значит, будет после нас,
вот как вчера. Вот как сейчас,
не ты — другой однажды выйдет
на этот взгорок из болот
и все по-своему увидит,
и все по-своему услышит,
и все по-своему поймет...
И в сотый раз стихи напишет
о том, как иволга поет.

ТКАЧИХИ

Отплясал, отплакал День Победы
в «малогабаритке» у ткачих...
Чуть поприглушились вдовьи беды
с горькой полбутылки на троих.
В окна бьет черемуховой вьюгой
умопомрачительно свежо...
Вот еще бы дочку или внука —
было бы и вовсе хорошо.
Тут уж не до праздничных резонов —
поутихло б горе на душе.
Скоро вот по новому закону
можно и на пенсию уже...
С мимолетным счастьем повстречались,
а забыть не хватит жизни всей!
В сорок первом в мае повлюблялись,
а в июне отдали мужей.
Ждали. А другие вот рожали
от солдат. И нечего судить!
Ладно, что достоинство держали.
— Эх, да что об этом говорить...
Так они сидят, лицом в ладони,
от шести часов и до шести.
Вы потише за окном, гармони,
дайте людям душу отвести.

СОСНЫ НАД ОБРЫВОМ

И весь багаж твой — сигарет немного,
и весь пейзаж — во все окно заря...
Она всегда с лукавинкой, дорога, —
перед любым не развернется зря.
Из-за сосёнок, промелькнувших живо,
из-за стожка, с пригорка иль гумна
сначала приглядится к пассажирам
через квадрат вагонного окна.
И тех отметит, кто давно за делом,
и тех — на положение боковом,
и то стекло, что густо запотело,
и то, что вновь протерто рукавом.
Потом начнет подбрасывать для пробы
то хуторок, то островок берез...

И наконец мосток подкинет, чтобы
была слышнее музыка колес.
Оставив душу черствую в покое,
почнет мелькать...

Потом, замедлив бег,
к тому окошку выдаст. вдруг такое,
что не находит места человек.

И долго-долго будет та утеха
обратно звать и за сердце держать.
И словно бы

 всю жизнь затем и ехал,
чтоб над обрывом сосны увидеть.

ПРО БАБУШКУ

Зацепилась травка самосевом
за горячий камень да песок.

А потом и бабочка присела,
прилетела пчелка на цветок.

Кто-то ловко протоптал от речки
тропку

 до грядущего села...

Сруб срубил, сложил такую печку,
что взглянуть и женщина пришла.

И, похоже, так залюбовалась,
так душой оттаяла тогда,

что и не припомнит, как осталась
в необжитом крае навсегда.

В ЛОДКЕ

Сорок лет, сорок зим, сорок весен,
а тебе — двадцать весен и зим...

Не раскачивай шлюпку. От весел
отойди. Посидим. Помолчим.

Погрустим над вечерней водою,
что о чем-то журчит горячо.

Не на радость твое молодое
белый свет заслонило плечо.

Прикажи — и причалю у прясел
и тебя уведу от беды.



Вновь зацепилась сойка за окно —
таинственная, сказочная птица.
Давным-давно ей ни к чему зерно,
а все б на красоту твою дивиться.
Пылает снег февральской белизной,
верхушками покачивают ели...
— Ах, стыд какой!.. Послушай, неужели
они все понимают?.. Боже мой.

МАРТ

Где б ни гостил, а к этой дате —
домой, домой, как люди все...
Вновь за морзянку взялся дятел —
стучит во всей своей красе.
Уже влетел мальчишка в лужу,
не пожалев своих сапог...
Вновь ясной, светлой сделал душу
лиловый мартовский снежок.
И стало тесно человеку
среди четырех казенных стен
на уровне дождя и снега
и телевизиорных антенн.

ДЕРЖИВЕТОЧКА

Держидерево — не поверие,
в Черноморье оно растет.
Через заросли, через тернии
человек пойдет — пропадет.
И приманчива и обманчива
зелень трепётного листа.
Одурманивает, укачивает
духота его, красота.
Не отмолишься, не открестишься,
так и сгинешь — шальным шальной...
Легкокрылая неровесница,
что ж наделала ты со мной?

Не писать, не спать,
не дышать, не петь
и не вскинуть рук — тяжелы.
Стали плечи твои золоты, как медь,
как два солнца, груди белы.
А когда к нам с гор подошла гроза,
бросив молнией в провода,
опрокинулось небо в твои глаза
и осталось в них навсегда.
С горя горького ли, с отрады ли,
но, тебя разглядев, в прибой
даже камни, оживши, падали
с Карадага вниз головой.
Ялик бился у скал, как щепочка,
на причале твоей души...
Синеглазая держиветочка,
ты покрепче меня держи!
Ты люби меня, изведи меня,
в сотый раз меня обмани.
Только женщину с тем же именем
перед смертью моей верни.

* * *

Не потрафилось летом нынешним
повстречаться с твоей волной.
Не скупись на морозы, Кинешма,
хоть зимой поделись со мной!
Горько стало, что не застал я
изначального ледостава —
всё затихло, и не вчера...
В доках вытоптанно и сыро,
как в невытопленных квартирах.
Сушат кили даже буксиры,
вездеходики-катера.
В цепи туго бортами вжались —
как друг с другом и не прощались,
а ведь каждый плакал в гудок!
А устроились всяк в свой док —
и молчок. Гудок на замок.
Вот и будут теперь до финиша
отчужденно молчать сто дней...

Горевать не резон бы, Кинешма,
просто мертвый сезон...

Да, видишь ли,
у людей всё еще сложней.

* * *

Косые паруса, как флаги,
зарей подсвечивает даль.
Белеет снег на Карадаге,
цветет сиренево миндаль.
Почти два месяца измором
зима брала нас, чтоб весной
я без условий сдался морю,
как салажонок приписной.
Чтоб, разом бросив все на свете,
вслепую кинуться сюда,
где силуэтами на рейде
покачиваются
суда.

* * *

Люблю начало той поры
не первой половины года,
когда последние дары
отдать готовится природа.
Когда, себя поняв, она
вновь величания достойна —
и ранней зрелостью спокойна
и поздней юности полна.
Когда в овражках и в лесах
не рвутся наперед березки,
и с исключительностью броской
не прет татарник на глаза.
Когда в природе, там и тут
всё ладно, как в стихотворенье.
Когда осинки с нетерпением
в ладоши попусту не бьют.
И пахнет смолкою сосна,
и в жгут сплетаются тропинки...
Прекрасен август! Даль ясна.
И ладят парус паутинки.

* * *

Вы слово едва ли давали
свою же любовь пережить.
Тем боле едва ли, едва ли
вам надо былье ворошить.
На Вязьме вам пеночка пела,
скрипел коростель на Десне.
На Волге любовь догорела
на медленном, тихом огне.
Забвение запорошило
ее, как снежком занесло.
Как в песне — что было, то было,
а значит, и вправду прошло!
Так что же вы ходите с кружкой,
как те погорельцы в селе,
что ищут задвижки да вьюшки
в холодной и горькой золе?

* * *

Седые отмели остыли,
как бы рябые от дождя.
И чайки крылья распустили,
лениво посуху бродя.
Почти свинцовой стала Волга,
и в сердце боль остра с утра.
И повторила перепёлка:
— Пора, пора. Пора, пора...
Ну что ж, еще промчалось лето!
Пройдет и жизни караван.
И, как неслаженным дуэтом,
замками щелкнул чемодан.

ОСКОЛОК

Я не чужаюсь верхних полок,
но финской баней не грешу...
Осумковавшийся осколок
в себе нетронутым ношу.

Мы с ним шпионим друг за другом,
прислушиваясь и ершась,
как два волчонка, что по кругу
знай ходят, взвешивая шанс.
Полузабылся Верхний Волок,
валдайский снег, лычковский лед...
А пустяковый тот осколок
с войны вернуться не дает.
Всё обошлось с годами, вроде,
поутряслось в твоей судьбе.
А он возьмет да к непогоде
вдруг и напомнит о себе!..
Ужель и правда: вместо звеньев
до срока рухнувших связных
кому-то надо в поколенья
жить среди мертвых и живых?

СЕРГЕЮ НАРОВЧАТОВУ

День и ночь над землянкой штабной —
только дождь проливной. Только стук
рассыпает, урча, пулемет —
то ль от скуки, а то ль на испуг
пулеметчик кого-то берет, —
вот и бьет то по фронту, то вкось,
прошивая лощину насквозь.
А потом и ему надоест —
оборвет. Ловит шорохи лес,
жаркий шепот поспешный: «Свои» —
в тьме кромешной среди тихой хвои.
И опять над землянкой штабной
только ветер да дождь проливной,
да нет-нет — за стеной часовой
на приступок опустит приклад.
Иль шальной недотепа-снаряд
прошуршит и влетит в перегной.
Хорошо, если не по своим!
А по ним, по нему...
Не пойму, хоть солдат, почему
этот дым в дождь всегда сладковат?

Сквозь прицельный расщеп блиндажа
что я видел?.. Болотная ржа
всколыхнется, ударит огнем —
и пошла вся земля ходуном.
Справа, так мне сказал командир,
ель — мой первый ориентир,
слева взлобок, приметный едва, —
ориентир номер два...
Я постиг и душой и умом
то, что в секторе было моем
с первых дней до последнего дня.

Вот о том и спросите меня.

* * *

Ни голоса, ни всплеска во Вселенной,
ни шороха, ни стука, ни костра...
Между гражданской жизнью и военной
в кустах бежит, журчит река Сестра.
Но уж саперы припасли понтоны
в полуверсте от горькой той воды,
от той беды, когда порой студеной
по всей России вымерзли сады.

* * *

А за спиной — вся Россия,
ни боли, ни страха нет...
Задраены фары синим,
кипит над колонной снег.
А мы налегаем на палки
вдоль Выборгского шоссе.
И валимся с лыж вповалку,
и вмиг засыпаем все...
Промерзли подшлемники рыжие,
заштриховались кусты.
И — нет никого. Лишь лыжи
над нами торчат, как кресты.

НА ВОЙНУ БРАТЕЛЬНИК УЕЗЖАЕТ

Памяти Бориса

Духотою полдень раскален,
скоро и дымок вдали растает...
Воинский грохочет эшелон.
На войну брательник уезжает.
Отплясал

и отрыдал

вокзал.

Отрешенно каменеют лица...
Сам ему я китель подгонял,
подшивал небесные петлицы.
На прощанье выгнулся дугой
«товарняк»...

И больше не мелькает.

Плачет мать... А я машу рукой.
Но об этом брат уже не знает.

ПРИКРЫТЫ БРУСТВЕРЫ СОЛОМОИ

В. Н. Кудрякову

Чтоб нас не укачала сонь,
гвоздит противник

по квадратам,

ведя изрядно нагловатый
тот беспокоящий огонь,
который не дает привстать,
то тут, то там воронки роем,
того гляди тебя накроет,
придавит глиною опять.
А нашим пушкам нечем бить,
и мы помочь огнем не просим...
Но успеваем в полный профиль
траншею в шесть колен отрыть.
Теперь не стронешь

с места нас:

по грудь в земле торчим!..

Как дома.

Прикрыты брустверы соломой,
набиты ленты про запас.

Вот только комья в сапогах,
вши под рубахой — надоели...
Да клочья порванных шинелей —
как наши души на кустах.

АТАКА

Дождем и снегом сеет небо.
А ты лежишь. И потом взмок...
И лезет в душу боль и небыль,
гремит не сердце, а комок.
Почти минута до сигнала,
а ты уже полуприсел.
Полупривстал рот. Встала.
Полупригнулась. Побежала...
Кто — до победного привала,
кто в здравотдел, кто в земотдел.

ПОЗЫВНЫЕ СЕРДЦА

Ну что с того, что все мы тленны. Полно,
коль не забудешь, затоскуешь ты —
среди других найдешь меня, коль волны
души твоей не сменят частоты.
А смерть глупа. А смерть слепа, бессонна —
знай по стволам своей клюкой стучит.
И если навсегда с землей зеленой
меня шальной осколок разлучит —
к своим, к землянке вытащат связные,
хоть о тебе не помнят ничего...
Пройдут года. Ты слышишь позывные
простреленного сердца моего?

ВОЛГАРЬ

Он с малых лет запомнил запах ржи,
речной простор вошел в него надолго.
В раскатах боя мирный скрип баржи
он различал, веселый крючник с Волги.

Был этот парень, как дубовый кряж.
Медлительный и мудрый, как былина,
он, как избу, кряхтя, рубил блиндаж,
осколки стекол вмазывал в суглинок.
Бой глухо колобродил за рекой.
Свою работу по-хозяйски взвесив,
он разложил гранаты под рукой,
бутылки осмотрел с горючей смесью.
На рожь взглянул — стоять бы ей в снопах!
Паля из пушек, скрежеща железом,
как носороги, с свастикой во лбах
двенадцать танков вырвались из леса.
И, подпустив врага до ковыля,
он весь напрягся первородной силой.
Не Муромца ли, мать сыра земля,
ты в этот день на подвиг воскресила?..
Его нашли в окопе. Он был жив.
Героя смерть коснуться не посмела,
он отличал от гари запах ржи
и смог еще подумать: перезрела.

ПУЛЕМЕТЧИК

С железных рукоятей пулемета
он не снимал ладоней
в дни войны...
Опасная и страшная работа.
Не вздумайте взглянуть со стороны.

РОССИЯ

М. Х. Кочневу

Гудели танки, пушки корпусные
меси́ли грязь и вязли до осей...
Знать, из терпенья вышла ты, Россия,
коль навалилась с ходу силой всей!
Какой маньяк посмел подумать только,
что ты покорной будешь хоть на миг?..
Россия — удаль гоголевской тройки,
Россия — музы пушкинской язык.

Оступились войны
на друзьях
моих...
Мертвые спокойны
за живых.

МЫ ПРОСИМ ОБ ОДНОМ ТЕБЯ, ИСТОРИК

Был отступленья путь солдатский горек,
как горек хлеба поданный кусок...
Людские души обжигало горе,
плыл не в заре, а в зареве восток.
Рев траков над ячейкой одиночной
других сводил, а нас не свел с ума.
Не каждому заглядывали в очи
бессмертье и история сама.
Пошли на дно простреленные каски
и ржавчина затворы извела...
Мы умерли в болотах под Демянском,
чтоб, не старея, Родина жила.
Мы просим об одном тебя, историк:
копаясь в уцелевших дневниках,
не умаляй ни радостей, ни горя —
ведь ложь, она как гвозди в сапогах.

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ОРЛОВА

На броне разорвался снаряд подо Мгой —
и заклинило намертво башню.
Сразу слева, по тракам, ударил другой —
выползай... Уцелей в рукопашной!
Из пропахших соляжкой и кровью болот
он к своим чуть живой доберется.
Обгорелый, своими ногами дойдет
до санбата. И снова вернется.
И опять хлороформ. И, как тени тихи,
вновь над ним эскулапы склонились...

Он в санбате такие напишет стихи —
в тыловых кабинетах не снились!

Ни на миг не порвется с душой его связь —
ни в беде, ни в застолье, ни в горе.
Вся Россия смотрела, любовью светясь,
в голубое его Белозерье.
Синих-синих, огня навидавшихся глаз
не сводил он с окопников старых.
А порой и в стихах подстраховывал нас,
на себя принимая удары.
Только сердце, оно ведь, и правда, одно —
из окопа шагнул иль из танка...

И на сотни сердец разлетелось оно
под прямым попаданием болванки.

ПОД НЕРЕХТОЙ ПЕСЕНКА СПЕТА

Д. К. Беляеву

Нехитрый лесок под турбазой
битком соловьями набит...
Как вдарят раскатом все сразу —
до вечера сердце знобит.
Такая дремучая радость
тебя с головой захлестнет,
что большего счастья не надо,
чем сладость вот этих тенет...
Стоишь ты, готов разреветься,
ушибленный трелью тройной.
Имеет в запасе коленце
из самых бывалых —
шальной.
Вот снова подкинул для пробы
полнотки... И снова умолк.
Катает горошинку, чтобы
в коронный войти перещелк.
В четыре колена руладу
выводит с печалью сквозной.
Зачем же так, милый?.. Не надо.
Не поздно ли петь надо мной?
А тех все равно не разбудишь,
уж если тогда не спасли —
под Мгой, под Валдаем, под Будой,
в космической черной пыли,

далеко от берега где-то,
где Тихий ревет океан...
Под Нерехтой песенка спета.
Еще не по нам, не по нам.

ЧЕРНЫЕ СНЕГА

Мы столько потеряли в том походе,
присыпали и глиной и песком...
Теперь друзья не гибнут, а уходят —
шажком.
Кто летним днем, кто зимним, кто осенним,
а кто в канун весенних холодов.
Под тяжестью контузий и ранений,
в солдатской славе ратных орденов.
Мы на плацдармах редко примечали,
как втаивали в черные снега,
когда к ногам портянки примерзали
и легкие хрипели, как мехи.
Не до того, не до себя нам было
на разделившем землю рубеже.
Четыре года смерть наотмашь была —
и так, и сяк, и эдак — по душе.
Вот и теперь все больше над пехотой
размахивает ржавым тесаком...
Недолюбив, друзья мои уходят.
А ласточки кричат над большаком.
А ласточки горюют — не успели
вернуться в срок в родимые края...
И серые солдатские шинели
укладывают в скатки сыновья.

* * *

Не солгу, не прикинусь, не струшу,
не скажу, что и я молодой.
Но война обдавала мне душу
и живою, и мертвой водой,
и окопной, и так — дождевою,
что за шиворот льет день-деньской...
И осталась душа молодою

и досталась навек вот такую —
все бы в спор, все бы в бой, в непокой.
Все бродить бы от края до края
по степям, по лугам, по лесам.
В обыденных вещах открывая
для любимых людей чудеса.
Чу — ресничками машет ромашка,
чу — звенит колокольчик лесной...
Юность, юность! Душа нараспашку.
Ты еще не в расчете со мной.

ПАМЯТИ Г. К. ЖУКОВА

Хранят легенду ветераны —
полупоследние уже.
Он думы поверял баяну
в своем командном блиндаже.
И даже смерть сама немела,
косу к березе прислонив:
летел над миром оробелым
солдатский горестный мотив.
Стыл над землей, над гарью адской,
и по траншеям тек ночным.
Стихая над могилой братской,
плыл над окопчиком моим.
Крепчал под сводами косыми,
где еле тесано бревно,
и был в ответе за Россию
и за Европу заодно...
За отгремевшими боями
солдаты слышат в полусне —
играет маршал на баяне
на той войне, на той войне.

ПОСЛЕДНЯЯ ПОЧТА

Чумазый и добрый трудяга,
притрется к мосткам самоход —
и спуском сезонного флага
на Лене закончится год.

Замрет, затаится поселок,
приладится

сети плести...

И горя и счастья осколок —
пока еще где-то в пути.

Пыхтит, надрывается дизель,
мотая прогон на валок...

И в рубке качается
писем

прошитый по кромке кулек.

Не хлеба, не спичек, не водки
с цыбулей, закрученной в жгут,
как в годы военные — сводки,
здесь почту последнюю ждут.

Прихлынул поселок к причалу.
От мудреца

до юнца

с вибрацией старого вала
неволью сверяет сердца...

Пошли мне, всевышний, хоть строчку,
чтоб, правдою дорожа,
ее, как последнюю почту,
ждала где-то

чья-то душа.

И НАМ СЛУЧАЛОСЬ КАМНЕМ ПАДАТЬ

И нам случалось камнем падать
за кромку смертного огня...

Еще удерживает память,
несет во времени меня.

Ее натянутые стропы
перехлестнулись на войне
и зафиксировались, чтобы
не впасть в беспамятство и мне...

Уже не редкость:

переводчик

запасной части тыловой
в анкете пишет: пулеметчик,
чуть не вчера с передовой.

Иль отрубивший срок законно
и в жизнь не нюхавший свинца —
о сшибках танковых и конных
строчит от первого лица.

Коробят душу заверенья
неоперившихся светил,
кто в дни войны, как в наступленье,
едва под стол пешком ходил,
и к славе мертвых приобщенье —
у обелисков и могил.
Не подновляй слова и даты,
не обрекай стихи на слом...
Пока мы живы, врать не надо
и задним тешиться числом.
Не представляй ужасно смелым,
с пеленок нравственным вполне.
Скажи по правде: что ты делал,
когда стреляли на войне?

В СВОЙ СРОК

Слышишь — гуси летят.

В. Луговской

Всё принимаю на веку,
что к солнцу тянется и жметя.
Пока залетное «ку-ку»
в лесу зеленом раздаётся,
пока в ручьях вода поет,
травы цветет, роса дымитя,
и шмель о хмель
ладошки трет,
и пахнет медом медуница.
Не положу я на весы,
не сопоставлю звон капли,
и басовитый вздох грозы,
и буйство белое метели,
друзей живые голоса,
врагов язвительные стрелы,
твои весенние глаза,
какими в жизнь мою смотрели.
Всё принимаю так,
как есть,
лишь только ты была бы рядом.
Суметь бы счастье перенести,
а горе —
встретим, как и надо.

Мне с детства дороги до слез
костры осин в осенней сини,
огонь рябин, пожар берез —
тот,
из конца в конец России.
Родные,
милые края,
где я однажды в путь свой вышел...
В свой срок
когда-нибудь и я
гусей пролетных не услышу.

* * *

Если был бы я прорицателем,
предсказателем-толкователем,
снов и слов твоих толмачом —
не журилась бы ни о чем.
Сны смотреть тебе стало б некогда,
собралась куда, а и некуда —
хорошо за моим плечом.
Навсегда права,
ты лишь мной жива,
из ключиц моих проросла трава.
И летят журавли, трубя...
Мне спросить за жизнь свою не с кого —
сам словил я пулю немецкую,
что хотела убить тебя.

ПАМЯТИ Н. МАЙОРОВА

Чьей матери плакать, чьей жить не тужить
и стать ли невестой девчонке,
в чьи двери стучаться, а чьи обходить —
не знали тогда похоронки.
Таскался квиток и за мной по пятам,
с того и доподлинно знаю,
что самые-самые... рухнули там —
на кромке переднего края.
А мы постарели, любви не тая,
и в том не повинны нимало...
Так что ж мне всё мнится, что участь твоя
меня не вдруг миновала?

* * *

И вновь, как рана ножевая, —
траншейка с глиной на стерне.
Не вспоминаю — проживаю,
зачем-то в кадрики сжимаю
все то, что было на войне.
Без огнестрельной этой травмы
уже ни дня мне не прожить.
Про кровью выжженные травы,
окопчики да переправы
давным-давно забыть пора бы
иль с кем-то память поделить!..
Но как остаться без кювета,
укрывшего от артогня?
Без орденов и пистолета?
Без вечных дум?.. Без партбилета.
Без павших на высотах где-то...
Едва в забвенье канет это —
не сыщешь лычки от меня.

О РЕТРОСПЕКТИВНОСТИ

Порой с ухмылочкою дивной
сочувственно толкуют мне,
что я живу ретроспективно,
как бы привязанным к войне,
что перепаханы окопы,
и тут и там — музей открыт,
литературная Европа
взахлеб о сексе говорит...
Ну что ж. И я армейский ватник
повесил в Альпах на сучок...
Но — вновь разрыв. И сквозь накатник
течет за шиворот песок.

ГИМНАСТЕРКА

В. А. Закруткину

Ольшаник выровнял откосы
противотанкового рва.
Почти в обхват стоят березы,
цветет тридцатая трава.

Скрипят на скрипочках цикады,
и юрко ящерки снуют...
По зеленеющему скату
сойди, как в молодость свою.
И оживут родные лица
ребят, рискнувших на прорыв.
Как кровь, сочится медуницы
почти пурпуровый разлив.
Чадят огнем и дымом горьким
навек горестные дни.
Ты у защитной гимнастерки
пошире ворот распахни.
Не для парада перешита
она в армейской мастерской,
и мне ль не знать, как беззащитен
ты в ней пред завистью людской.
Она единственна и свята
и всем оправдана вдвойне...
Она — как траур по ребятам,
вчера погибшим на войне.

* * *

Под деревней Старая Руза
обрели последний покой
подполковник — Герой Союза,
бронзой меченный именной;
сорок шесть сержантов пехоты,
двадцать взводных, один комбат
и, по чьим-то горьким подсчетам,
девятьсот шестьдесят солдат...
А при въезде в красе чеканной —
братский памятник безымянный,
уходящий в разрыв-траву...
Видно, в горести да в печали
мы не всех тогда сосчитали,
кто собой заслонил Москву.

* * *

И снова июнь. И, как прежде,
попынью дымит суходол.
На летнюю форму одежды
зайчишка-русак перешел.

Течет к перелеску крылато
цветов суматошный прибой.
Бушует над кашкой и мятой
червонным огнем зверобой.
Вот-вот и займется опушка,
и лес не спасти от огня...
Стволом поворачает пушка,
зрачок наведет на меня.
Откат разнесет маскировку —
и ржавчиной из забвения
беспомощно сунется в бровку
армейская каска моя.

* * *

Новогодняя пробует силу метель,
за окном до рассвета дымится.
Оживают, мою обступая постель,
дорогие солдатские лица.
На скрипучий мой стул Милославов присел,
и возник Кузнецов из метели.
Сквозь оптический, тронутый стужей прицел
неужели меня разглядели?
Грохнув диском о дверь, Философов вошел —
свет-Георгий, а попросту — Юрка...
Подмигнул и — трофейную флягу на стол,
как кинжал, вдруг рванул из-под бурки.
Лед с ресниц обдирая, моргает Чупров —
исхудалый, стремительный, русский...
Ну а ты почему?.. Ты ведь жив и здоров,
на партийной работе во Фрунзе?
Видно, ротный, и правда, настала пора
всем погибшим земно поклониться.
Только нет и не будет такого пера,
чтоб стихами за жизнь расплатиться.

* * *

Как художник к мольберту, столяр к верстаку
и к своей каравелле Колумб,
вместе с солнцем вставай и иди к столу,
именную строгай строку.

Только верь, что вся правда — в твоей судьбе,
вся земля для тебя как мать.
Не до «певческой скорости» будет тебе,
если есть что людям сказать...

ЧАШКА

Все рубанки, фуганки, шерхебели,
крохи меди, буры и свинца,
двухзажимный верстак (вместо мебели)
унаследовал я от отца.
А от матери в час ее тяжкий
перешла ко мне дивная чашка —
с хрупким блюдцем под лист кленовый...
С бирюзой обручальных колец
подарил ее маме внове
деревенский столяр бедовый,
то есть будущий мой отец,
когда шли они под венец.
Чашек с дюжину, видно, было.
Две разбила, когда их мыла,
пару — бабушке подарила.
Остальные — такие дела:
без особой тоски-печали,
когда дочери подрастали,
по одной дочерям раздавала...
А девчонки — их тоже мыли
и в конце концов перебили,
хоть любили — как я зарю.
А последняя — мне досталась,
долговечною оказалась.
Из буфета когда достану —
будто с мамой поговорю.

КУКУШКА

Я кукушку взял и выселил на кухню —
не глядели б на нее мои глаза...
А она чуть помолчит и вновь кукукнет —
и за стенкой снова склонет полчас.
Закрывая за собою дверцу плотно,
утверждает непреложно, что от нас
беспощадно и бесповоротно
навсегда ушел тот самый получаc.

СОДЕРЖАНИЕ

Речка Шижегда	3
Вожак	4
Завалило Иваново снегом	5
Иволга	5
Ткачихи	6
Сосны над обрывом	6
Про бабушку	7
В лодке	7
«Ты — помнишь?..»	8
Щит	8
«Вновь зацепилась сойка за окно...»	9
Март	9
Держиветочка	9
«Не потрафилось летом нынешним...»	10
«Косые паруса, как флаги...»	11
«Люблю начало той поры...»	11
«Вы слово едва ли давали...»	12
«Седые отмели остыли...»	12
Осколок	12
Сергею Наровчатову	13
«Ни голоса, ни всплеска во Вселенной...»	14
«А за спиной — вся Россия...»	14
На войну брательник уезжает	15
Прикрыты брустверы соломой	15
Атака	16
Позывные сердца	16
Волгарь	16
Пулеметчик	17
Россия	17
Шлем	18
«Сержант уж час как не был жив...»	18
Послесловие 1945 года	18
Мы просим об одном тебя, историк	19
Памяти Сергея Орлова	19

Под Нерехтой песенка спета	20
Черные снега	21
«Не солгу, не прикинусь, не струшу...»	21
Памяти Г. К. Жукова	22
Последняя почта	22
И нам случалось камнем падать	23
В свой срок	24
«Если был бы я прорицателем...»	25
Памяти Н. Майорова	25
«И вновь как рана ножевая...»	26
О ретроспективности	26
Гимнастерка	26
«Под деревней Старая Руза...»	27
«И снова июнь...»	27
«Новогодняя пробует силу метель...»	28
«Как художник к мольберту...»	28
Чашка	29
Кукушка	29
«Не знаю я...»	30

Владимир Семенович Жуков

ПОЗЫВНЫЕ СЕРДЦА

Редактор Е. А. Антошкин.

Технический редактор Е. Н. Щукина.

Сдано в набор 25.08.80. Подписано к печати 03.12.80. А 00468.
 Формат 70 × 108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Новогазетная».
 Офсетная печать. Усл. печ. л. 1,40. Учетно-изд. л. 1,69.
 Тираж 100 000 экз. Изд. № 2984. Зак. 2946. Цена 15 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
 газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865; ГСП, Москва. А-137,
 ул. «Правды», 24.